

РОМАН КУБОВ

Дом,
КОТОРЫЙ
ВЫБРАЛ МЕНЯ



Роман Кубов

Дом, который выбрал меня

<https://litres.ru/74536134>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ивент-менеджер Марьяна Коваль умела поднимать проекты, которые другие считали безнадёжными, но объект ей достался сверх всякой сметы: корчма "Лакомка" на перекрёстке у городка Луковка, заброшенная сорок лет, - крыша течёт, очаг спит, а домовой Тихон ведёт grossбух пропаж.

Уговор прост: подними дом до категории "три колоса" к Великой ярмарке - откроют портал домой. Не поднимешь - дом уйдёт в казну, а ты в списки неисполнивших. Здесь у каждого правила свой характер: кашу нужно уговаривать, постояльцы выбирают лавку, а не вывеску, а молчаливый печник Мирон, пришедший чинить крышу, знает про этот дом больше, чем говорит.

Почему очаг уснул сорок лет назад, куда делась прежняя хозяйка и почему дом слушается Марьяну как родную? "Лакомка" отвечает по одной подсказке за раз.

Тёплая история о том, как дома выбирают людей, о живом огне и о договоре, который оказался крепче страха.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Инвентаризация	9
Глава 2. Город и печник	17
Глава 3. Первый постоялец	25
Г	32
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Роман Кубов

Дом, который выбрал меня

Пролог

Декоративный олень сбежал с корпоратива в двадцать три сорок, и именно с него, если честно, всё и началось.

Олень был пенопластовый, в натуральную величину, с рогами из проволоки и лампочкой в левом глазу. Заказчик хотел "зимнюю сказку в сентябре", мы сделали зимнюю сказку в сентябре, а олень, значит, не выдержал сказки первым: опрокинулся от сквозняка, покатился по паркету, пробил собой фуршетный стол и скрылся в служебном коридоре, рассыпая из себя искру лампочки. Заказчик кричал, что это была "ключевая фотозона". Я стояла посреди зала в чужом празднике, который восемь недель собирала по минутам, и думала, что ключевое в моей работе - это слово "чужом".

Звали меня Марьяна Коваль, мне было двадцать девять лет, и я работала ивент-менеджером, что в переводе на нормальный язык означает: я делала людям праздники, на которые меня не звали. Восемь лет. Свадьбы, презентации, юбилеи компаний, названия которых я забывала в ту секунду, как подписывала смету. Своего у меня было мало: съёмная комната, термос с наклейкой "М." и привычка ужинать стоя,

потому что сидя - это уже выходной, а выходных у меня не было запланировано.

За оленем послали меня, потому что послать больше было некого.

В служебном коридоре пахло пылью и старым линолеумом. Олень лежал в конце, у двери с табличкой "Посторонним вход воспрещён", и лампочка в его глазу мигала с таким видом, будто он звал. Я подняла оленя, он был лёгкий и тёплый, как все фальшивые вещи, и тут дверь с табличкой открылась сама.

За дверью была лестница вниз, а за лестницей - свет, и свет этот был не электрический, а такой, каким в детстве казался свет из кухни, когда тебя звали ужинать. Я подумала, что за дверью должен быть склад, и шагнула туда с оленем в руках, потому что с оленем в руках человек вообще плохо соображает, что делает.

Лестница кончилась не складом. Она кончилась залом, и зал этот был как вокзал, только вокзал, который построил человек, любящий бумажки: колонны из шкафов, вместо табло - полки с папками, и под потолком летают не голуби, а письма, сложенные в птичек. Посреди зала стояла очередь. В очереди стояли люди, и не только люди: у окна переминался мужик в тулупе с бородой до пояса, рядом с ним - женщина в платке, которая держала за руку мальчишку, а мальчишка был прозрачный. Я посмотрела на оленя в своих руках, олень посмотрел на меня лампочкой, и я решила, что устала.

- Молодая женщина, - сказали мне из-за колонны. - Вы по записи или как выпало?

Из-за колонны вышел человек в сером костюме, с папкой и с таким лицом, с каким встречают курьера, который опоздал, но всё ещё может быть полезен. Лицо было служебное до последней морщинки.

- Я за оленем, - сказала я. - Он укатился. У нас фотозона.

- Олень в реестре не значится, - сказал человек и заглянул в папку. - А вы, стало быть, значиться хотите? Очень вовремя. У нас окно.

- Какое окно?

- Технологическое, - сказал он. - Меня зовут Касьян, Управление перекрёстков и очагов, чиновник первого разряда, приём ведётся в порядке живой очереди, но для вас, как для выпавшей, сделаем исключение. Подпишите.

Он протянул мне лист. Лист был плотный, тёплый, как олень, и наверху было написано что-то длинное, со словом "договор", и внизу стояла пустая строка. Я в жизни подписала столько договоров на площадку, на кейтеринг, на свет и звук, что рука моя сработала раньше головы: я взяла у Касьяна перо и расписалась, и перо было тёплое, как всё здесь.

- Вот и славно, - сказал Касьян. - Добро пожаловать в опеку. Портал откроется после исполнения, не раньше. Следующий!

- В какую опеку? - спросила я.

Но зал уже складывался, как складывается декорация по-

сле праздника: сначала улетели письма-птички, потом шкафы стали деревьями, потом деревья стали стенами, и стало темно, и пахло не пылью, а печью и старым деревом.

Я лежала на полу, и пол был дощатый, и где-то рядом очень выразительно скрипнула половица. В руке я всё ещё держала пенопластового оленя, за спиной у меня стоял термос с наклейкой "М.", который я таскала с собой на все площадки, а надо мной нависал потолок из потемневших балок, и с балок свисали пучки трав, и всё это было моё ровно настолько, насколько бывает моим чужой зал за час до монтажа.

- Опять временные, - сказал голос.

Голос был скрипучий, как половица, которая его издала, и доносился он из-за большой тёмной печи, занимавшей полдома.

- Кто временные? - спросила я у печи.

- Хозяева, - сказал голос. - Трое до вас было. Один сбежал, вторая сгорела на работе, третий продал меня за долги, не спросив. Вы, значит, четвёртая. Обувь снимайте, у меня полы мытые.

Я села на полу, поставила оленя рядом, как ставят чемодан, и посмотрела на свои ботинки, и на печь, и на пыльный луч, в котором висела пыль чужого мира, и подумала очень спокойно, как думаю в кризисные минуты на площадке: тайминг горит, подрядчики подвели, сметы нет, и кто-то же должен это всё провести.

- Я не временная, - сказала я печи. - Я по договору.

- Все так говорят, - скрипнула половица. - Уговор у нас простой, четвёртая. К Великой ярмарке дом должен получить категорию "три колоса". Получит - портал вам откроют, и катитесь на все четыре стороны. Не получит - дом отойдёт в казну, а вы - в списки неисполнивших, и это, доложу я вам, такие списки, что и читать тошно.

- А если я вообще домой хочу? - спросила я. - Прямо сейчас?

- Домой - это после исполнения, - сказал голос так, что стало ясно: разговор окончен. - А сейчас у вас, четвёртая, течёт крыша, пустой погреб и очаг, который спит сорок лет. С чего начнёте?

Я встала, отряхнула юбку, сняла ботинки, как велели, и поставила их ровно у порога, потому что порядок - это первое, что можно навести, когда всё остальное уже сгорело.

- С инвентаризации, - сказала я.

Глава 1. Инвентаризация

Инвентаризацию я начала с кухни, потому что кухня в любом заведении - это правда о заведении, и если где-то и можно понять, чем жил дом, то по плитам, полкам и следам жира на стене.

Кухня в "Лакомке" была большая, тёмная и холодная, как склад в несезон. Печь занимала половину помещения, и это была не та печь, которой греются, а та, которой живут: с лежанкой, с заслонкой в рост человека, с устьем, в которое можно было поставить противень на десять персон и не поцарапать локтей. Устье было забрано решёткой, решётка - на замке, и замок был ржавый до такой степени, что казалось, будто его закрывали не от людей, а от времени.

- А это зачем? - спросила я у половицы.

Половица скрипнула в том смысле, что вопрос глупый.

- Очаг спит, - сказал голос из-за печи. - Сорок лет как. А вы с вопросами.

- У меня работа такая, - сказала я. - Вопросы задавать и смотреть, что не так. Как вас зовут, хозяин?

- Тихон, - сказал голос, и половица скрипнула с достоинством. - Домовой я здешний. И не "как вас зовут", а "как ваше имя, сударь", так раньше спрашивали.

- Тихон, - сказала я. - Я Марьяна. По договору опеки. Если мы с вами будем работать вместе, давайте договоримся

на берегу: я не сбегаю, не сгораю и не продаю. Я считаю и спрашиваю. Вы отвечаете и не хлопаете дверями.

Дверь кладовой хлопнула.

- Рефлекс, - сказал Тихон. - Дальше будете смотреть - я буду хлопать. У меня клапаны.

Я достала из сумки блокнот, который таскала с собой на все площадки, и ручку, и открыла чистую страницу, и написала сверху: "Лакомка. Инвентаризация. День первый". Это было смешно, потому что страницу назад в этом блокноте была смета чужого корпоратива с оленем, и я подумала, что, может быть, так и надо: чужие сметы заканчиваются, а своя начинается с той же страницы.

Зал, в котором я проснулась, был главный, и в нём было двенадцать столов. Я пересчитала их дважды, потому что цифра двенадцать для заведения без повара, без продуктов и без крыши звучала как издевательство. Столы были дубовые, тяжёлые, и стояли так, как ставят столы люди, которые знают, куда люди пойдут за добавкой. Лавки прилагались, лавок было двадцать четыре, и на одной была вырезана надпись: "Кто не доел, тот не ушёл". Я записала её в блокнот, потому что хорошие фразы нельзя разбрасывать.

- Тихон, - сказала я. - А где всё?

- Украдено, - сказал Тихон.

- Что украдено?

- Всё, - сказал Тихон. - У меня грессбух есть.

Из-за печи высунулась рука, или то, что у домовых вместо

руки: серое, лохматое, с пальцами, и протянуло мне книгу. Книга была толщиной в кирпич и выглядела так, как выглядит книга, которую вели сорок лет и в которую записывали не то, что есть, а то, чего нет. На обложке было написано: "Гроссбух пропаж, том седьмой".

- Седьмой? - спросила я.

- Первые шесть украли, - сказал Тихон. - Открывайте, только пальцы не слюнявьте, у меня страницы учёные.

Я открыла гроссбух. Пропажи были расписаны по годам, и почерки менялись, и чернила выцветали, и записи были такие, что у меня внутри что-то сжалось, хотя я пришла сюда считать имущество, а не чувства. "Год первый. Ска-терть льняная, одна. Унесена постояльцем, приметы: усы, наглость. Год второй. Ложки серебряные, восемь. Заложены хозяином, не вернулись. Год третий. Кот Рыжий. Ушёл. При-чина: мыши кончились. Год сороковой. Сковорода большая. Опять этот Селиван."

- Сорок лет одна сковорода, - сказала я. - Тихон, вы его, кажется, подозреваете.

- Я его не подозреваю, - сказал Тихон. - Я его знаю. Дальше смотрите.

Дальше было ещё три страницы пропаж, и среди них - за-слонка малая, котёл средний и тридцать две тарелки, и я за-крыла гроссбух и поставила его на полку, и подумала, что у каждого дома есть такая книга, просто не каждый её пока-зывает.

Погреб был под залом, и в погребе было пусто, и стояла одна банка. Банка была глиняная, запечатанная воском, и на воске была отпечатана монета. Я сломала печать, и в банке лежали монеты, и я пересчитала их на полу погреба, при свече, потому что считать деньги на полу - это профессиональное: в агентстве я однажды считала наличные в подсобке цирка, пока за стеной репетировали медведи. Двенадцать серебряных грибеной. Это было всё.

- Тихон, - сказала я, поднимаясь. - Это чьё?

- Хозяйское, - сказал Тихон. - Веселина оставила. Сказала: кто дом поднимет, тому и сеять. Я охранял. Меня два раза за это били.

- Кто бил?

- Селиван, - сказал Тихон. - Первый раз за банку, второй раз за компанию. Вы, четвёртая, деньги не считайте громко, у меня стены слышат, а у него уши.

Я записала в блокнот: "Касса: 12 грибеной. Распорядиться с умом". И подумала, что там, откуда я, на эти деньги не покупалась даже половина одного светового прибора, а здесь это были все деньги мира, и за них нужно было купить мир.

Двор я обошла до сумерек, потому что двор - это тоже зал, только без крыши, и его тоже нужно видеть целиком. Амбар стоял напротив дома, большой и косой, и в нём, под рогожей, нашлись вещи, о которых Тихон в грессбухе не записал ни слова: телега с целыми колёсами, бочка под воду и сундук, в котором лежали, завёрнутые в тряпье, как дети, двадцать це-

лых тарелок, котёл и сковорода, та самая. Я стояла над сундуком и понимала Тихона без слов: есть имущество, а есть то, что ты прячешь от мира, потому что миру нельзя доверять хорошее, и я пересчитала тарелки дважды и записала в блокнот отдельно, с пометкой "не говорить вслух".

- Тихон, - сказала я потом. - У вас в grossбухе пропаж сковороды есть, а в сундуке она лежит.

- В grossбухе написано "опять этот Селиван", - сказал Тихон. - А в сундуке написано "от Селивана". Это разные записи, четвёртая. Не путайте мне учёт.

Курятник за амбаром был пуст, и в нём пахло так, как пахнут места, где жизнь кончилась, но не ушла, и я подумала, что курей заведу обязательно, потому что заведение без курей - это ресторан без запаха, а запах - это первый продавец. Дровяник был на треть полон, и дрова были старые, и я прикинула, что на неделю хватит, и на этой мысли поймала себя на слове "неделю", потому что вчера я ещё думала категориями "пока не разберусь", а сегодня уже считала топливо на неделю вперёд.

Очаг я осматривала последней, потому что к главному в зале подходят в конце, когда всё остальное уже не страшно. Печь была сложена из тёмного кирпича, и кирпич был тёплый на ощупь, хотя в доме было холодно, и я подержала ладонь на кладке дольше, чем нужно, потому что ладонь удивилась.

- Он же тёплый, - сказала я.

- Он не тёплый, - сказал Тихон. - Он помнит. Это разное. Уголь вынули, вот он и спит, а то бы вы тут со мной не разговаривали, а стояли по струнке.

- Какой уголь?

- Живой, - сказал Тихон. - Сердце очага. Без сердца, четвёртая, дом - это просто дрова, сложенные с любовью. Разводите пока малую печурку, в углу, для еды сойдёт. Очаг не трогайте. Очаг не для вас.

- Это почему же?

- А он никому не для, - сказал Тихон. - Сорок лет никому. Ложитесь спать, завтра будете город искать, а я покараулю. У меня, между прочим, смена.

Спать я легла в комнате за кухней, потому что она была меньше всех и значит, её было легче всего нагреть печуркой, и это тоже была профессиональная привычка: начинать с малого. Кровать была настоящая, с панцирной сеткой, и на ней лежал матрас, набитый травой, и пахло полынью и пылью, и я застелила кровать своей курткой, потому что бельё тоже было в гроссбухе пропаж.

Перед сном я достала телефон. Эксон был разряжен ещё на площадке, но я всё равно его достала, потому что есть жесты, которые человек делает не для дела, а для порядка. В телефоне были фотографии чужого праздника, и последняя - олень в луче света, и я подумала, что дома у меня нет ни одной своей фотографии, потому что дома я бывала между площадками, и фотографировать там было нечего.

Я достала из термоса остатки чая. Термос был старый, с наклейкой "М.", которую я наклеила в первом агентстве, чтобы не путать с чужими, и с тех пор у меня поменялось семь работ, а наклейка осталась, и я подумала, что это, наверное, и есть дом: не то место, где тебя ждут, а то, что ты таскаешь за собой, потому что оно помнит, как тебя зовут.

Печурка трещала, и за окном было небо, и звёзд в нём было больше, чем бывает в городе, и я лежала и смотрела на них через щель в ставне, и думала о том, что завтра нужно в город, и что денег на двоих, и что крыша течёт, и что очаг спит, и что домовый хлопает дверями, потому что у него клапаны, и что я не сказала Тихону главного: что впервые за восемь лет мне не нужно было никого чужого делать счастливым, и что от этого было страшно.

- Тихон, - сказала я в темноту. - А Веселина. Она кто?

- Хозяйка, - сказал Тихон и скрипнул осторожно. - Была. Уехала хлопотать. Сорок лет хлопочет. Вы спите, четвёртая. Про неё завтра, у меня горло к ночи.

Я уснула под скрип половиц, и снился мне олень, который шёл по полю и нёс на рогах гирлянду, и гирлянда горела, и это было красиво, и я во сне подумала, что за такой свет можно и остаться, если больше некуда идти.

Утром я вышла на крыльцо и увидела у крыльца следы подков. Следы были свежие, ночь была тихая, и никто из дома не выходил, и я стояла и смотрела на следы, и думала, что в доме, у которого есть грессбух пропаж, пропажи ино-

гда приходят сами.

- Тихон, - сказала я. - К нам ночью кто-то приезжал.

- Ну и что, - сказал Тихон. - Дом у нас проходной. Вы лучше не на следы смотрите, а на амбар.

Я посмотрела на амбар. Дверь амбара была приоткрыта, а на двери висел замок, и замок был открыт, и ключа у меня не было.

- Вот это уже инвентаризация, - сказала я.

Глава 2. Город и печник

Город Луковка начинался с запаха: сначала пахло рекой, потом навозом, потом выпечкой, и по тому, какой запах побеждал, можно было понять, в какую часть города тебя несёт. Меня несло к выпечке, потому что выпечка - это рынок, а рынок - это всё, что мне было нужно: еда, люди и слухи, в порядке убывания важности.

Шла я пешком, потому что телега без лошади - это телега, а не транспорт, и потому что дорогу в новый город нужно пройти ногами, чтобы он тебя запомнил. Тракт был укатанный, утро было раннее, и навстречу мне ехала артель извозчиков, восемь телег, и старший в артели привстал и посмотрел на меня так, как смотрят на новую вывеску: не задерживаясь, но запоминая.

- Чья такая? - крикнул он артелям.

- Из "Лакомки"! - крикнула я, потому что врать было рано, а молчать было глупо.

- Из "Лакомки"! - перекаатилось по артелям, и старший кивнул мне, как кивают старому знакомому, которого не помнят, и артель укатила к городу, и я поняла, что в этих местах новости ездят быстрее лошадей.

Рынок в Луковке был правильный: ряды шли кругами, как круги на воде, и в середине стоял колодец, и торговки стояли так, чтобы видеть и колодец, и друг друга. Я обошла рынок

по кругу, прежде чем купить хоть что-то, потому что так меня учила бабушка: сначала смотри, потом торгуйся, потом плати, и никогда не наоборот.

Крупы я взяла у старика, который сидел над мешками так, как сидят над мешками люди, выросшие на этой крупе. Луку и масла - у соседки его, потому что у соседей надо брать по очереди, иначе они поссорятся, и ты останешься без обоих. Яиц я не взяла ни у кого, потому что яйца мне обещала одна торговка, которая торговала всем и знала всех.

- Зелень, коренья, новости, - сказала она мне с улыбкой, от которой у нормального человека сразу пропадало три шуши из кармана. - Меня Фекла зовут. Вы из "Лакомки", я уже знаю. Что вам надо, вы уже знаете, а вот что вам понадобится - это я знаю.

- Мне надо крупы на неделю, масла, луку и яиц, - сказала я. - И чтобы не обманули.

- Обмануть вас не выйдет, - сказала Фекла. - У вас лицо человека, который сметы пишет. Это видно по лбу.

Так я узнала, что на этом рынке у меня лицо человека, который пишет сметы, и что это лучшая рекомендация из возможных, потому что Фекла после этого ссыпала мне крупы на шушу больше, чем я просила, и сказала, что это "на новоселье", и что новоселье в "Лакомке" она помнит одно, сорок лет назад, и оно было хорошее.

- А почему закрылось? - спросила я.

Фекла посмотрела на меня, и лицо у неё стало такое, ка-

ким бывает лицо у людей, когда они решают, сколько правды можно положить в чужие руки.

- Хозяйка уехала, - сказала Фекла. - Веселина. Дом без хозяйки - это печь без огня, стоит, но не греет. А потом разные люди ходили, и все не те. Вы-то сами будете как, долго?

- По договору, - сказала я.

- По договору, - повторила Фекла. - Ну-ну. Здесь, милочка, по договору только чиновники живут. А люди живут по-другому. Платите, и держите сдачу при себе, у нас тут с этим строго.

Сдачу я держала, и это было правильно, потому что Селиван возник у лотка в тот момент, когда я пересчитывала монеты, и возник он так, как возникают люди, привыкшие вставать между покупателем и кассой.

Селиван был крупный, румяный, в кафтане такого цвета, каким красят только то, что хотят продать подороже, и на каждом пальце у него было по кольцу, и кольца были разные, и это было главное, что я про него поняла: человеку важно, чтобы его было много.

- Из "Лакомки", - сказал Селиван. - А я думал, туда уже никто не ходит. Селиван Ключ, заведение напротив перекрёстка, может, видели, вывеска большая.

- Вывеску видела, - сказала я. - Она качалась.

- Ветер, - сказал Селиван. - Я к вам по делу. Усадьба ваша стоит, земля под ней дорога, а толку ноль. Я предлагаю честно: продайте мне участок, цену дам хорошую, дом под снос,

землю под заставу, перекрёсток - место бойкое. Подумайте, пока не подумалось.

- Я подумаю, - сказала я.

- Вот и умница, - сказал Селиван и ушёл, и ушёл он так, как уходят люди, которые уверены, что за ними додумают.

Фекла выросла рядом, как вырастает рынок, когда рынку интересно.

- Цену хорошую обещал? - спросила Фекла.

- Хорошую, - сказала я. - Я не про цену думаю. Я думаю, зачем ему участок, если заведение у него и так напротив.

- А затем, милочка, что у Селивана не голова, а кадастр, - сказала Фекла. - Он землю любит больше, чем деньги, потому что деньги у него были, а земля ему всегда доставалась чужая. Участок ваш - это перекрёсток, а перекрёсток - это место, мимо которого все едут. Кто перекрёсток держит, тот всем кивает, а ему никто. Он этого хочет.

- А я ему не продам, - сказала я.

- Это правильно, - сказала Фекла. - Только помните: Селиван отказывается один раз. Второй раз он уже не просит. Второй раз он подаёт.

- Подаёт что?

- Бумагу, - сказала Фекла. - У нас тут все так делают, кто по-настоящему. Кто хочет - тот просит, кто уверен - тот подаёт. Вы с ним вежливо, и я с ним вежливо, а он с нами по бумаге будет. Это я вам как подруга говорю, хотя мы с вами знакомы час.

- Беру в подружки, - сказала я. - У меня подружки такие, что предупреждают заранее.

- Это вы удачно зашли, - сказала Фекла. - У меня предложения оптом.

Я смотрела ему вслед и думала, что таких людей бывает каждый третий, и что от них лучше всего помогает одна фраза, которую я когда-то выучила: "Ваше предложение рассмотрено". И ещё я думала, что вывеска у него действительно качалась, и что ветер тут был ни при чём.

Печника я искала до обеда. Печник в Луковке был один, и звали его Мирон, и жил он у реки, и двор у него был завален кирпичом так, как бывают завалены дворы людей, которые живут работой вместо забора. Сам Мирон сидел на перевёрнутом ведре и правил какой-то инструмент, и правил медленно, и когда я вошла, он не поднял головы, и это было вежливое не-внимание: человек показывал, что у него дело, и что дело это важнее входящих.

- Добрый день, - сказала я. - Мне нужен печник.

- Вы его нашли, - сказал Мирон, не поднимая головы. - Только я не берусь.

- Вы даже не спросили, что нужно, - сказала я.

- Из "Лакомки", - сказал Мирон, и инструмент в его руке не остановился. - С утра весь город знает. Крыша, заслонка, труба, и чтобы очаг растопить. Так?

- Так, - сказала я. - Откуда вы знаете про очаг?

- Я его клал, - сказал Мирон. - Дед мой клал. Я в нём

каждый кирпич знаю, мне туда смотреть не надо. А вам туда смотреть нечего, потому что он не для вас строен, и разговаривать он не будет, и вы уедете, как все, а мне потом за вами переделывать.

- А если я не уеду?

Тут он поднял голову, и у него были серые глаза и привычка щуриться, как у человека, который всю жизнь смотрит на кладку и научился так же смотреть на людей: проверяя швы.

- Не уедете - приходите, - сказал он. - А пока я не берусь. У меня своя работа.

- Какая работа?

- Всякая, - сказал он. - Я печник, у меня всегда всякая работа.

Я постояла, и я не любила уходить не договорив, и это была моя профессиональная беда: меня за это и держали, и за это же меня иногда хотелось убить.

- Давайте так, - сказала я. - Я не прошу вас браться за очаг. Мне нужна крыша, потому что зима, и труба, потому что дым. Очаг я трогать не буду, мне запретили. Работа - постой и еда, у меня комната свободная и кухня, деньги я плачу отдельно только за инструмент, если нужен. Неделя на пробу. Если я уеду - вы ничего не теряете, кроме супа.

Миرون смотрел на меня одну паузу, и я видела, как он считает, потому что люди, которые работают руками, считают так же, как я: не в деньгах, а в усилиях.

- Суп какой? - спросил он.

- По сезону, - сказала я. - Сегодня луковый, потому что лук у меня есть.

- Я подумаю, - сказал он.

- Ваше предложение рассмотрено, - сказала я и ушла, потому что в агентстве меня научили: после хорошей цены уходят, не дождавшись ответа.

Он пришёл вечером. Я в это время мыла лавки в зале, потому что лавки были тем, что можно отмыть, и мыть их было приятно, потому что это было своё, и он вошёл, посмотрел, как я мою, и сказал:

- Инструмент у меня свой. Комната где?

- За кухней, - сказала я. - Полы мытые. Обувь у порога, у нас тут домовые строгие.

- Тихон, - сказал Мирон, и сказал он это имя так, как говорят имена старых знакомых, которых уважаешь, несмотря ни на что.

- Огневский внук, - скрипнула половица. - Твоих рук не признавать грех. А ты, четвёртая, суп ставь, у нас тут, между прочим, работник.

Я ставила суп и думала, что дом, оказывается, умеет принимать людей, как умеет принимать их хороший зал: одних пропускает, а других держит в гардеробе до выяснения. Мирон был принят. Мне оставалось не отставать.

Ужинали мы втроём, если считать половицы, и Мирон ел молча и быстро, как едят люди, у которых много работы и мало времени, и в конце сказал:

- Каша завтра будет?

- Каша будет, - сказала я.

- Тогда я с вами на неделю, - сказал он. - А дальше посмотрим.

- Дальше всегда посмотрим, - сказала я.

Он ушёл осматривать пристройку, а я осталась мыть посуду, и мыла её с чувством, которого у меня не было восемь лет: с чувством, что посуду мою я для людей, которые завтра придут.

Перед сном я вышла на крыльцо проверить замки, и стояла, и смотрела на перекрёсток, и на вывеску "Золотого гуся", которая качалась без ветра, и думала о том, что сказала про печника половица. "Огневских рук не признавать грех". Я сказала это себе вслух, чтобы услышать со стороны, и со стороны это звучало как ключ, который подходит к замку, который я ещё не нашла.

Очаг за стеной молчал, и это молчание было не пустое, а такое, каким молчит человек, который слушает чужой разговор и ждёт своей реплики.

- Я ничего не знаю про твой очаг, - сказала я ему. - Но я умею читать договоры.

Он молчал.

- Значит, буду читать, - сказала я.

Глава 3. Первый постоялец

Каша пригорела ровно настолько, чтобы её можно было спасти, и я спасала её, когда в дверь "Лакомки" постучали так, как стучат люди, уверенные, что им откроют по закону.

- Открыто! - крикнула я, потому что заведение без посетителей - это не заведение, а склад мебели.

Вошёл Касьян. Костюм на нём был дорожный, папка была служебная, и вид у него был человека, который приехал не есть, а принимать.

- Внеплановая проверка, - сказал он с порога. - Чиновник первого разряда, Управление перекрёстков и очагов. Повод - ввод в опеку. Основание - параграф двенадцатый. Проводите?

- Провожу, - сказала я. - Только у меня каша.

- Каша подождёт, - сказал Касьян. - Каша, согласно параграфу сорок первому, есть продукт скоропортящийся, тогда как отчётность вечна.

Дальше был час, который я запомнила как самый странный аудит в моей жизни. Касьян ходил по залу и трогал всё: лавки, столы, оконные рамы, и про каждую вещь говорил либо "соответствует", либо "не соответствует", и "не соответствовало" почти всё, и я ходила за ним с блокнотом и записывала, потому что аудит есть аудит, и я их прошла штук двадцать, и все они заканчиваются одинаково: либо ты под-

писываешь, либо ты споришь, и я выбрала третье.

Очаг он осматривал дольше всего, и Тихон явился на осмотр лично: из-за печи высунулось серое, лохматое и с бровями, и Касьян, увидев брови, раскрыл папку на нужной странице.

- Домовой, - сказал он. - Зарегистрирован?

- Я здесь сорок лет, - сказал Тихон. - Это вы у меня не зарегистрированы. Цель визита?

- Проверка, - сказал Касьян. - Параграф двенадцатый.

- Параграф пусть осмотрит амбар, - сказал Тихон. - А у меня тут очаг под охраной. Опись есть, печать есть, ключ отсутствует по уважительной причине.

Касьян записал. Я стояла и смотрела, как чиновник первого разряда принимает у домового очаг под охрану, и думала, что у этого мира есть одно большое преимущество перед моим: здесь даже бумаги разговаривают.

- Крыша, - говорил Касьян. - Не соответствует. Труба малая - соответствует с натяжкой. Погреб - соответствует, но пуст, а пустой погреб есть погреб без смысла. Где продукты?

- Покупаются, - сказала я. - У меня касса двенадцать грибней, и я их не на отчётность трачу.

- Касса записана?

- Записана.

- Тогда соответствует, - сказал Касьян, и в его голосе впервые мелькнуло что-то человеческое, как мелькает монета в пыли. - Редкий случай. Обычно опекуны кассу не записыва-

ют, а пропивают.

- Я не пропиваю, - сказала я. - Я считаю.

- Тогда пойдёмте посмотреть документы опекуна, - сказал Касьян. - Параграф семь: имущество опекуна подлежит описи на предмет соответствия статусу.

Опись моей сумки была короткая: блокнот, ручка, телефон без сети, термос с наклейкой "М.", гребень, и на дне - конверт. Конверт лежал там с площадки, потому что я сунула его туда впопыхах и забыла, и в конверте была фотография, которую я собиралась отнести в мастерскую: две девочки на фоне деревянного дома, одна постарше, другая помладше, и обе смеялись так, как смеются люди, у которых впереди ещё всё. Фотографию я нашла в бабушкиных вещах зимой и с тех пор таскала с собой, потому что мастерская всё время была не по дороге.

Касьян взял конверт двумя пальцами, как берут документы, и посмотрел на фотографию, и смотрел он на неё дольше, чем нужно для описи.

- Это что? - спросил он.

- Фотография, - сказала я. - Семейная. Из дома.

- Из какого дома?

- Из моего, - сказала я. - Это моя бабушка и её сестра. Сестра пропала давно, я её не застала. А фотография осталась.

Касьян молчал. Потом он положил фотографию обратно в конверт, и конверт в сумку, и сумку на стол, и всё это он

сделал медленно, как делают люди, которые считают про себя что-то важное.

- Вещи опишем устно, - сказал он. - Бумага требует бумаги.

Проверка кончилась к обеду, и я поставила перед проверяющим тарелку каши, потому что был обед, и потому что аудит аудитом, а кормить людей - это единственное, что в моей жизни всегда имело смысл. Каша была ячменная, с луком, и я не была в ней уверена, потому что печурка томила неравномерно, и Касьян взял ложку, и ел он так же, как проверял: по параграфам, не торопясь.

- Соответствует, - сказал он наконец.

- Что соответствует?

- Всё, - сказал Касьян. - Каша. Параграф о каше отсутствует, но это не значит, что каша не имеет значения. Поставьте мне чай, и я заполню вердикт.

Я поставила чай, и он заполнял вердикт долго, и скрипел пером, и однажды перестал скрипеть и посмотрел на меня поверх папки.

- Вы, Марьяна Коваль, - сказал он, - опекунша редкой породы. Обычно в опеку идут те, кому некуда деться. А у вас такое лицо, будто вы сюда за чем-то пришли.

- А я и пришла, - сказала я. - За своими двумя грибенями. Я их сегодня утром за кашу не получила, потому что кашу ели вы, и это, между прочим, расход за счёт заведения.

Касьян засмеялся, и смех у него был ржавый, как замок

на очаге, и он достал из папки монету и положил на стол, и монета была серебряная.

- Два грибенья, - сказал он. - За кашу и за постой, потому что я остаюсь на ночь, согласно параграфу о разъездных. И запишите в кассу. Я проверю.

Я записала, и это были первые деньги, которые "Лакомка" получила за сорок лет, и я записала их дважды, потому что руки у меня были заняты, и не потому что я не доверяла бумаге, а потому что не доверяла себе: мне хотелось, чтобы это было правда, и бумажная запись делает правду осязаемой, и это я знала по сметам.

Вечером, когда Касьян ушёл осматривать амбар с видом человека, который осматривает всё, что ему показывают, я разбирала зал, и двигала лавки, и в углу у окна, под половицей, которую Мирон поддел накануне, стоял сундук. Сундук был неглубокий, и в нём лежали бумаги, и сверху лежала грамота, свёрнутая трубочкой и перевязанная лентой.

Я развернула её. Грамота была старая, и почерк был женский, твёрдый, и написано было:

"Дом сей слушается не каждого, а только ту же кровь. Кто грамоту сию читает и дом узнаёт - тот свой. Остальным - не верить, даже если с бумагами."

Подписи не было. Внизу было написано одно слово: "Веселина".

Я сидела на полу с грамотой и слышала, как за стеной Касьян разговаривает с Тихоном о кладовых, и как Тихон хло-

падет дверцами, и как скрипит половица, и думала о том, что сегодня утром чиновник смотрел на фотографию двух девочек дольше, чем нужно для описи, и о том, что в грамоте написано про кровь, и о том, что у меня в сумке лежит бабушка, и о том, что я не знаю, кем мне приходится женщина, написавшая грамоту, и что дом, кажется, знает.

- Тихон, - позвала я.

- Чего вам, четвёртая, - отозвалась половица рядом.

- Кто такая Веселина?

Половица молчала так долго, что я решила, что домовый уснул, и потом половица сказала:

- Спросите у своего чиновника, - сказала половица. - Он сегодня вашу сумку смотрел. Он знает, что спрашивать. А я, четвёртая, по описи не прохожу. У меня горло.

В дверь постучал Касьян, и вошёл, и папку не нёс, и это было странно, потому что чиновник без папки - это человек, который пришёл либо извиняться, либо спрашивать.

- Марьяна Коваль, - сказал он. - Вердикт я вам завтра объявлю официально, а сейчас скажу неофициально, потому что параграф о неофициальном у нас в управлении любят. Опекун продлена. Дело пойдёт. Но в деле будет строка.

- Какая строка?

- Родство с прежней хозяйкой не установлено, - сказал Касьян. - Я обязан её вписать, потому что видел то, что видел, и обязан потому, что если родство установится, договор ваш станет одной бумагой, а если не установится - другой. Совсем

другой, Марьяна Коваль. Понимаете?

- Не понимаю, - сказала я. - Объясните.

- Объясню, - сказал Касьян. - Когда придёт время. А пока варите кашу, потому что утром у вас будут извозчики, и вот это уже не параграф, а наблюдение: артель Дормидонта встала на тракте в трёх верстах, и кашу они вашу учуют раньше, чем вы её сварите. Спокойной ночи, опекунша.

Он ушёл, и я осталась с грамотой, и с фотографией, и с двумя вопросами, которые стояли передо мной, как стоят перед человеком две дороги, и обе ведут в лес, и в лесу этом, судя по всему, жили мои родственники, которых у меня никогда не было.

- Ну и ладно, - сказала я залу. - Завтра каша для извозчиков. А вопросы подождут.

Зал молчал, и очаг молчал, и только половица скрипнула у порога так, как скрипят половицы, когда им есть что сказать, но по описи не положено.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.